

Было что-то щемящее пронзительно, светлое, высокое... а потом, что в день памяти Зубра его коллеги, ученики, друзья, близкие люди собрались на Ленинских горах «в виду всякой Москвы»...

Насколько преданы они его памяти? Маля Реформатская, Коля Воронцов, Валерий Иванов, Дина Бенедиктовна Гейца, Володя Иванов... Все они были здесь, как и М. Волошинштейн, А. Тюрюканов, Л. Вломентафелд, А. Ярлин, сестры Н. и Е. Ярлуновы, А. Панишина, одна из друзей Зубра в фашистской Германии...

пленьку ленции, выпутлелений, «баен» Эвез и комментировали, вспоминая над острей, какие-то словесные обороты. Никакого подострабия, ложного пиетета. Но больше всего, понятие, рассуждали о повести, напечатанной в «Новом мире»...

дети...» Без Д. и образ Зубра был бы не такой многоплановый. — Конечно, и подобный опыт помогает, хотя я не думал об этом. Мне было очень трудно разбираться в материале, касающемся Д. Историческая психология этого социального зла еще не изучена как следует...

почти на чисто отсутствует. Пытаться вернуть историческое сознание, которое в большой мере присутствовало, допустим, в XIX веке, когда люди понимали, что они находятся в потоке истории...

жуют удивление: как Зубр мог остаться в Германии? Они не учитывают и этих обстоятельств, и того, что у нас с Германией тогда официально вроде бы были хорошие отношения. Вот, например, один ученый написал мне, и это действительно так: в то время в Воронеже в наших летних школах обучались немецкие летчики, Гудерман тоже учился у нас...

Через несколько дней я поехала в Ленинград, чтобы вместе с Даниилом Александровичем посмотреть эту почту. — Многие читатели спрашивают, почему я опять и опять возвращаюсь в своем творчестве к ученым. Прежде всего потому, что меня занимает мир интеллектуального героя...

Масштаб души — вот что привлекает. Когда я думал о Зубре как о своем герое, решающими были крупность характера и моя любовь к этому человеку. Я полюбил его задолго до того, как решил писать о нем...

К науке нашей мы относимся так же бесхозяйственно, как и к отечественной литературе. Например, сунули куда-то в сундук интересные произведения 20—30-х годов и забыли. Не знаем теперь, что в этом сундуке лежит, что истлеет, а что сохранилось...

Судьба Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского была сложной и очень запутанной. Мне хотелось эту сложность распутать. Работа оказалась изнурительной, но, пожалуй, никогда я не получал такого удовлетворения. Я знакомился, встречался с превосходными людьми. В жизни моего героя хватало таинственного, и это тоже была тайна: каким образом на протяжении многих лет его окружали, вокруг него сосредоточивались именно такие — значительные, благородные, яркие люди...

Судьба Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского была сложной и очень запутанной. Мне хотелось эту сложность распутать. Работа оказалась изнурительной, но, пожалуй, никогда я не получал такого удовлетворения. Я знакомился, встречался с превосходными людьми. В жизни моего героя хватало таинственного, и это тоже была тайна: каким образом на протяжении многих лет его окружали, вокруг него сосредоточивались именно такие — значительные, благородные, яркие люди...

Я столкнулся с Тимофеевым-Ресовским еще и как с хорошим рассказчиком — мысль его блестящая, парадоксальная, речь колоритная, одна история, одна байка лучше другой. Как сделать книгу: собрать, записать его рассказы — это заманчиво просто, но хотелось стать хозяином, художественно распорядиться таким материалом. Это была довольно сложная литературная задача.

Из письма ленинградца, доктора искусствоведения И. Ф. Петровской: «Автор — автор герой повесть, образ его на каждой странице, не только там, где прямые комментарии от себя». — В январе прошлого года, когда с вами произошел несчастный случай, о котором вы недавно рассказали на страницах «Литгазеты» в статье «О милосердии», вы не могли работать, и я пришла с диктофоном, чтобы записать вас для рубрики «Монолог о времени и о себе»...

— В. Аудинцев совершил, конечно, подвиг. Только подумайте, в какие времена он взялся за лысенковщину, изучал, собирал материал, писал — почти два десятилетия работы, великое дело то, что он сделал! — И вот еще к какой мысли приходишь теперь, когда чуть не одновременно, почти за какие-нибудь полгода в журнале появились произведения В. Аудинцева, А. Бека, В. Тендрякова, А. Приставкина, А.

Рыбакова — его роман «Дети Арбата», как известно, хотел печатать еще А. Твердовский, и он же пытался опубликовать в «Новом мире» повесть И. Герасимова «Стук в дверь», которая теперь наконец увидела свет в «Октябре». И так не только в русской прозе. Трудной была, скажем, дорога к читателю и романа латышского прозаика А. Бала «Бессонница»...

— Наблюдение верно. В подсудном этом пласту, как вы выразились, предостигает еще многому открыться и про городское наше бытие, и про деревенское. Я не считаю, что в литературе можно мешать друг другу. По-моему, хорошо, что разные авторы, каждый по-своему, обратились к теме лысенковщины. В моей повести она не главная, у Аудинцева в романе — основная. Мы не представляем, какой вред причинила лысенковщина нашему сельскому хозяйству, как пострадала от нее генетика, какой урон понесла наша наука в целом, моральный, физический. Об этом, я знаю, написано несколько исследований, но пока что они никак не могут пробиться в печать...

— Я хотел бы отметить, что в повести вы не только описываете, но и осуждаете, и это тоже было бы важно. Но, к сожалению, все еще очень горячие проблемы. — А вот почему. Если бы в повести шла речь о конкретной судьбе одного, ныне старшего человека, вы, может быть, и не увидели бы типа, явления. А речь в связи с фигурой Д., надо, наверное, вести о том, что в течение ряда лет в науке, и не в одной, создавались условия, когда посредственностью простыми и безжалостными способами могла достигаться преумощность. Как часто таланты оказывались в тени, а вперед, на сцену выдвигались люди не одаренные, но бойкие, крикливые, владеющие демагогическими приемами и для достижения цели не брезгующие никакими средствами...

— Но это ведь прекрасно, что повесть задевает, что вызвала такую поспешную реакцию у определенного ряда lidí. Коль скоро вы о них заговорили, хочу спросить вас: с какой целью, по какой причине вы не назвали подлинным именем, а только обозначили инициалом Д. (и, по-видимому, этот инициал тоже придуман) фигуру, которая очень метко сказано: «верный враг», «экалэтный сподвижник». В нескольких читательских письмах звучал в связи с этим следующий мотив: ведь таким образом конкретный человек, послуживший прототипом Д., как бы уведен из зала суда, укрыт от общественного презрения.

— Я не писал судебный очерк, не нуждаюсь в прямых доказательствах тех или иных неблагоприятных поступков Д. Достойно было мнение о нем в среде ученых, годами складывающейся репутации. — То есть у вас не было намерения «пригвоздить» реального человека, и он неузнаваем? — Я был поражен, когда обнаружил, что в Д. себя увидел не один человек — несколько людей забеспокоились, засуетились... Но мне было важно не это — узнать или нет себя тот, кого я имел в виду, узнать ли его другие. Кроме того, я был связан обещанием. Я обещал Д., не раскрывать его фамилию и не мог нарушить слово. Гораздо интереснее — и в литературном плане прежде всего — было понять характер, разобраться в психологии, в мотивах его поступков. Наше общение, разумеется, было напряженным. Потом, обдумывая разговор с ним, читая письма, которые он мне присылал, я пытался установить ход его мыслей, реставрировать, как он стал донощиком.

— В этой работе вам, видимо, помогали опыт исследования «Модарта и Сальери», луганский взгляд, ваш анализ, ваши гипотезы. Когда я читала страницы, связанные с Д., мне сразу пришло на память это ваше эссе «Священный дар». Потому еще, наверно, пришло на память, что в новой повести есть признание: «Давно мечтаю я написать книгу о чести и бесче-

ральные лица, и в этот круг врывается вымышленный герой, очень интересный тип, именно тип, поэтому в нем, как в зеркале, увидели себя разные люди. Но в связи с образом Д., вернее, с «эскаперностью» его, я хочу вернуться к вашему монологу, напечатанному в «ЛГ» накануне XXVIII съезда партии. «Ответственность подлинная и мнимая», где я про, без всяких обиняков вы ставили вопрос: почему остаются безмятежными, не отвечают перед обществом за свои действия те, кто запрещал, мешал нам встретиться с картинами Фиоленто, стихами Высоцкого, фильмами Германа, Климова и др. Имена этих запретителей должны быть обнародованы. Так считали и многочисленные читатели, откликнувшиеся на ваше газетное выступление. И вот сейчас те же самые читатели берут в руки повесть и видят, что в условиях гласности вы элистного интригана, «черную тень» большого ученого опять же назвали его Д. Этот тип людей, запечатлеленных в образе Д., не дураков отнюдь, не простаков, не тщедушных перестроенщиков — людей деловых, целеустремленных, ловких сегодня, во времена перестройки, вызывает к себе особо пристальный интерес. Читатели пишут в своих письмах, что лысенковщина процветала и давала здравые плоды не только в генетике, как таковой Д. они наблюдали и продолжают по сей день сталкиваться с ними в разных сферах жизни, и в науке, и в искусстве...

— Вы себе тут противоречите. — Почему? — А вот почему. Если бы в повести шла речь о конкретной судьбе одного, ныне старшего человека, вы, может быть, и не увидели бы типа, явления. А речь в связи с фигурой Д., надо, наверное, вести о том, что в течение ряда лет в науке, и не в одной, создавались условия, когда посредственностью простыми и безжалостными способами могла достигаться преумощность. Как часто таланты оказывались в тени, а вперед, на сцену выдвигались люди не одаренные, но бойкие, крикливые, владеющие демагогическими приемами и для достижения цели не брезгующие никакими средствами...

— Могу сказать, что интеллигентность — это чисто русское, а сейчас чисто советское понятие. В зарубежных словарях слово «интеллигент» имеет в скобках «русск.». Оно для нас русское, так же как теперь слово «гласность». Определите интеллигентность, сформулируйте это четкое, по-моему, до сих пор еще никому не удавалось. Есть ощущение интеллигентности, как ощущение порядочности. Я считаю, что интеллигентность — это цвет нации, цвет народа. Я встречал интеллигентных людей среди ученых, даже крупных, и знаю прекрасных интеллигентов среди рабочих. Это понятие для меня не классовое, не должностное, не образовательного ценза, оно вне всех этих формальных категорий, иное — какое-то духовное понятие, которое соединяется в чужом с понятием порядочности, независимости, хотя это разные вещи.

— Для нас с А. Адамовичем, когда мы работали над «Блокадной книгой», было очень важно показать значение интеллигентности, высоты духа. В нечеловеческих условиях интеллигентность, духовность помогала не пасть в нравственную бездну, выжить не за счет других, не расчеловечиться. Что не свойственно интеллигентности, мы все понимаем. Он не может быть человеком, поступающим против совести, бесчестным, шовинистом, хамом, стяжателем. Есть какие-то рамки. Но это, конечно, не определение.

— В Тимофееве-Ресовском поражало, кроме всего прочего, живое ощущение, что он связан со своим родом, со своими предками и перед их лицом, перед их историей не может совершить поступка, порочащего фамилию, что он отвечает за честь этого своего многовекового прошлого. В большинстве своем мы не знаем истории своего рода, семейных преданий, легенд. Ощущение родословной у нас

не знаем про них, это большая потеря, в особенности для нравственного воспитания молодежи. — Большое Вам спасибо за книгу. Есть же люди! А ведь скрывали их от нас. Зачем? Чтобы мы верили, что все одинаково? Генетики совершили не столько научные, сколько нравственные подвиги. И правда, зачем мы приглаживаем, выравниваем свою историю? Кому это выгодно? Кстати, знаете, на мой взгляд, почему Зубр держал возле себя Д.? Во-первых, он догадывался, что если берет Д., то все равно его кем-нибудь заменят, однако сознательно же Д. — Зубр, вероятно, не боялся его. Еще раз большое Вам спасибо и Залыгну тоже. Коротко о себе. Родился в 1940 году, работаю мастером ОТК на заводе. В Степаново.

— В предисловии к книге «Сад камней» вы писали: «Меня интересовала не величина, не степень таланта, а, скорее, те душевные переживания, те нравственные проблемы, какие приходится решать почти каждому, кто посвящает свою жизнь научному творчеству... Человеческие качества ученого, пожалуй, не менее важны, чем его достижения, моральный облик великих ученых имеет большое значение для поколений...». В своих письмах читатели рассуждают о главном уроке, который преподает им Зубр, — жить, всегда и во всем оставаться самим собой: «Вся его жизнь состояла из поступков, один поступок следовал за другим, но для него это были не поступки, а способ жить... Он не боролся за свои убеждения, он просто следовал им в любых условиях. У него выходило, что всегда можно быть самим собой. Ничто извне не может помешать этому. Все дело в прелативности внутри человека, их больше, чем снаружи». Когда мы были у Реформатских, А. Н. Тюрюканов — Тюрюканов, как именовав его Зубр, — назвал вас певцом интеллигентности. Среди писем читателей есть одно, в котором твердость жизненной позиции Зубра, его, как там говорится, «самостоятельность», неизбежность натуры впрямую соотносится с понятием интеллигентности, с ощущением своих корней, своей родословной.

— Могу сказать, что интеллигентность — это чисто русское, а сейчас чисто советское понятие. В зарубежных словарях слово «интеллигент» имеет в скобках «русск.». Оно для нас русское, так же как теперь слово «гласность». Определите интеллигентность, сформулируйте это четкое, по-моему, до сих пор еще никому не удавалось. Есть ощущение интеллигентности, как ощущение порядочности. Я считаю, что интеллигентность — это цвет нации, цвет народа. Я встречал интеллигентных людей среди ученых, даже крупных, и знаю прекрасных интеллигентов среди рабочих. Это понятие для меня не классовое, не должностное, не образовательного ценза, оно вне всех этих формальных категорий, иное — какое-то духовное понятие, которое соединяется в чужом с понятием порядочности, независимости, хотя это разные вещи.

— Для нас с А. Адамовичем, когда мы работали над «Блокадной книгой», было очень важно показать значение интеллигентности, высоты духа. В нечеловеческих условиях интеллигентность, духовность помогала не пасть в нравственную бездну, выжить не за счет других, не расчеловечиться. Что не свойственно интеллигентности, мы все понимаем. Он не может быть человеком, поступающим против совести, бесчестным, шовинистом, хамом, стяжателем. Есть какие-то рамки. Но это, конечно, не определение.

— В Тимофееве-Ресовском поражало, кроме всего прочего, живое ощущение, что он связан со своим родом, со своими предками и перед их лицом, перед их историей не может совершить поступка, порочащего фамилию, что он отвечает за честь этого своего многовекового прошлого. В большинстве своем мы не знаем истории своего рода, семейных преданий, легенд. Ощущение родословной у нас

почти на чисто отсутствует. Пытаться вернуть историческое сознание, которое в большой мере присутствовало, допустим, в XIX веке, когда люди понимали, что они находятся в потоке истории, что все то, что они делают, оставляет в ней след, отпечатывается и будет соответствующим оцениваться следующими поколениями. Непосредственное ощущение истории очень важно, потому что оно рождает чувство ответственности перед детьми, внуками, правнуками — чтобы не опозорить перед ними и не опозорить их. Какие-то простые вещи: «наша фамилия всегда была порядочной, не позволяла себе никаких низких, подлых поступков, блюла свою родовую честь, и вдруг какое-то пятно кто-то оставил... Да никогда, ведь про нас хорошо говорили, читали, уважали...»

— Такое было свойственно дворянству, образованной части общества. — Это жило в народе, в любой крестьянской семье: «как это так, мы — Иваны, Петровы, Николаевы всегда блюли себя — и дед, и сват...» Среди нас враг не было, под судом никто не находился, мы всегда долги платили, и вдруг... — вот стыд, вот срам... Эта первичная ячейка исторического сознания — род, семья — то, что я пытался показать на

примере моего героя, — по-моему, очень серьезная проблема духовной жизни. Только у человека, выросшего в беспечности, поднимется рука окривлять могилы, разорять кладбища. Горько читать в газетах о подобных актах вандализма на алма-атинском мусульманском кладбище «Кенсай», на Еврейском кладбище в Ленинграде.

— Особность документальной литературы состоит в том, что она имеет интересное последствие. Благодаря письмам, звонкам, непредвиденным встречам появляются новые сведения, детали, подробности. Вот лежат передо мной несколько писем, дополняющих, обогащающих историю предков Зубра, биографию его самого. Одно из них от Т. Эгерт, которая родилась и прожила более полувека в квартире матери Николая Владимировича, в Никольском переулке, ныне Плотиников, и хорошо помнит всю семью Тимофеевых. «Зная, как Вы стремитесь к предельной точности, — пишет она, — замечу, что в семье Тимофеевых были еще четыре брата и только одна сестра. Все братья были людьми незаурядных способностей. Двое, Владимир и Дмитрий, погибли в период культа личности, двое других плодотворно работали: Виктор — «соболятник» и Борис — в кинохронике, были энергичны, обязательны, остроумны и очень самобытны». Пишет из Москвы Г. Аксенов: «Дело в том, что мой отец, когда я стал ему рассказывать о Вашей повести, вспомнил, что вез Тимофеева на станцию, вернее, в пересельный лагерь. Отец тоже отбыл срок, ему повезло — он попал в конюхи и ездил от одного объекта к другому. Он вез Тимофеева целые сутки, и этот человек врезался мне в память, во-первых, потому, что был земляк, калужский, во-вторых, своими рассказами о заргранице и, в-третьих, особой значительностью и развитием, обращением. Они много разговаривали в дороге. Тимофеев ехал с ним одним... был слаб, одет во что-то плохонькое, телогрейку, которая спереди не сходилась».

У меня спрашивают еще, почему я не описал лагерную жизнь своего героя. Но я также пропустил его жизнь в Свердловске, какие-то другие этапы его биографии, потому что у я не писал биографию, не создавал жизнеописание Тимофеева-Ресовского. Меня интересовала история души, история мысли, история его душевных драм и трагедий. Письмо, очень важное для понимания психологии моего героя, того, что происходило с ним, я получил от Е. Слепковой: «Муж мой В. Н. Слепков работал в генетической лаборатории профессора Серебровского в Москве вместе с Н. Дубининым. В 1926 году была выпущена его книга «Генетика». В 1928 году Слепков командировали в Берлин, и он работал с мушкетерской группой или у Тимофеева, или с Тимофеевым, а я оставалась в Москве, так как родила в 1929 году дочь. Как хорошо, что Вы написали о таком человеке! О таких людях надо писать. И как хорошо, что мы дожили до такого времени, когда Вы можете писать, а мы можем читать! Не приходилось ли Вам встречать фамилию Слепкова в материалах, в рассказе? В 1937 году он был расстрелян, но посмертно реабилитирован. Может, поэтому, когда Вы говорите о 1928—1929 годах, фамилии Слепкова нет, хотя он был там, в Берлине, рядом с Тимофеевым. Я провела в тюрьмах более десяти лет как его жена. Не сердитесь за меня за то, что отнимаю время, но вся жизнь моя была «выкурком», хотя я выросла в семье, где не только дети с 1917 года были в партии (посмертно реабилитированы), но у мамы была подпольная квартира. И муж мой — член партии с 1920 года. Как он любил биологию, генетику, и как рано все обрвалось...» Это письмо тоже кое-что дополняет в принятии Тимофеевым-Ресовским решения остаться в Берлине. Конечно, ему не могло быть неизвестно, что его братья арестованы, что арестован брат его жены Елены Александровны...

— Автор некоторых писем все же выра-

ПОЧТА ОДНОЙ КНИГИ

Д. ГРАНИН. «ЗУБР»

ЭХО ОДНОГО ДАЛЬНОГО И БЛИЗКОГО



Н. В. ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ.
«...Не зря биофизики выбрали для юбилея его фотографии, где он восседает на ступенях лестницы закатанный в одеяло, — ни дать ни взять римский патриций на ступенях сената».